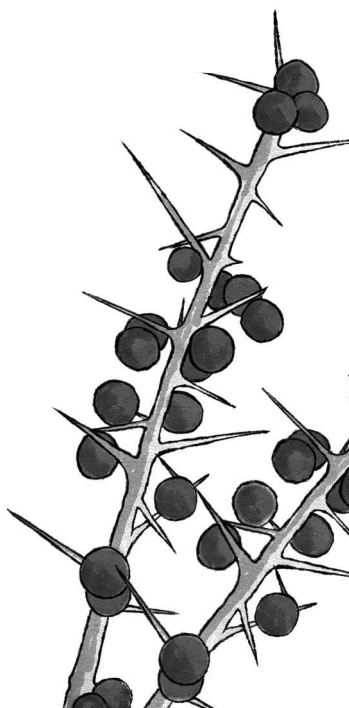
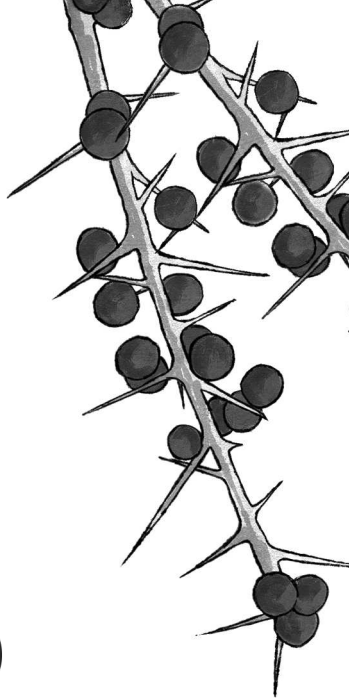


Мария Корелли

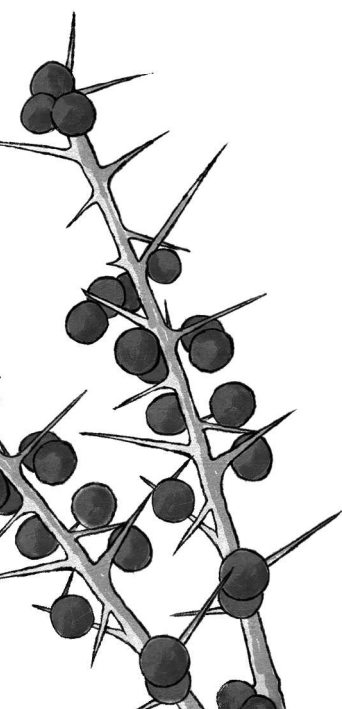
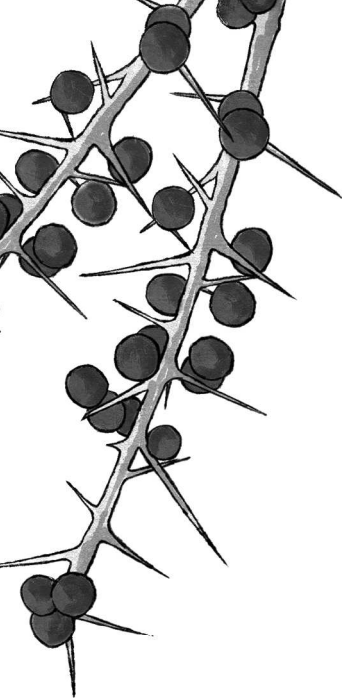
СКОРЬ САТАНЫ

**LIKE
BOOK**

Москва





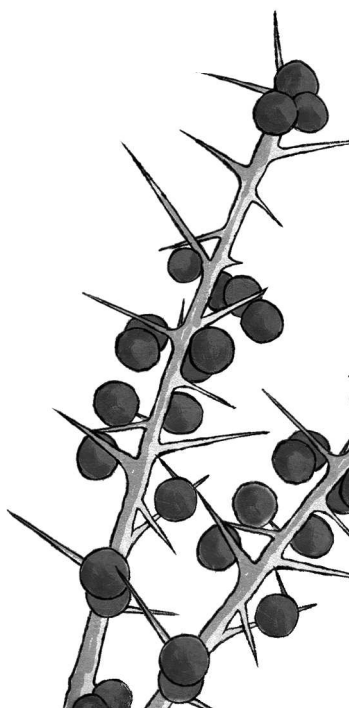
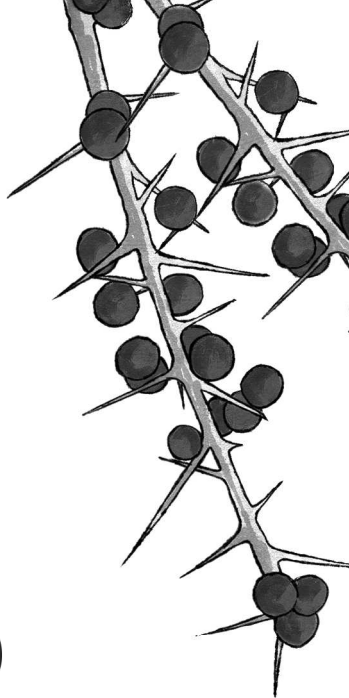


Мария Корелли

СКОРЬ САТАНЫ

**LIKE
BOOK**

Москва



УДК 821.111-31
ББК 84(4Вел)-44
К66

MARIA CORELLI
THE SORROWS OF SATAN

Перевод с английского *Влада Чарного*

Художественное оформление *Р. Фахрутдинова*

Иллюстрация на переплете BRIT/0.5 (*Захарова Полина*)

Корелли, Мария.

К66 Скорбь Сатаны / Мария Корелли ; [перевод с английского -
го Влада Чарного]. — Москва : Эксмо, 2025. — 480 с.

ISBN 978-5-04-219624-9

Вам бы писать пикантные романы, тогда и будете известным писателем!

Джеффри Темпесту уже надоело слышать от издателей одно и то же. Неформат, слишком интеллектуально, никто не поймет... Все знакомые литераторы подкуплены, агенты просто пожимают плечами, а деньги все кончаются...

Молодому писателю просто некуда идти. Его знатный отец оставил в наследство только долги и кредиты. В отчаянии Джеффри пишет своему давнему другу в Австралию, который неожиданно разбогател на золотодобыче. Тот рекомендует ему обратиться к таинственному графу Лучо Риманезу, который всех «избавляет от бедности».

Но Темпест ведь не знает, что у этого молодого графа воистину много имен и обличей. Ведь он — дьявол, у которого невероятно ясный взгляд, полный скорби и огня...

Сможет ли Джеффри противостоять соблазну роскоши и не потерять не только свой талант, но и душу? И почему дьявол так хочет быть неправым?..

УДК 821.111-31
ББК 84(4Вел)-44

ISBN 978-5-04-219624-9

© В. Чарный, перевод на русский язык, 2024
© Издание на русском языке, оформление.
ООО «Издательство «Эксмо», 2025

I



Известно ли вам, что значит быть бедным? Не считаться бедностью, подобно тому, кто имеет свои пять-шесть тысяч годового дохода и все же клянется, что едва сводит концы с концами, но быть действительно бедным — всецело, мучительно, безобразно бедным позорной, убогой, ничтожной бедностью? Бедностью, что вынуждает носить одно и то же платье, покуда оно совершенно не изнашивается, той, что лишает вас свежего белья, когда услуги прачки непомерно дороги, что лишает вас самоуважения, заставляя стыдливо красться вдоль улиц, когда бы вы могли гордо шагать по ним в кругу друзей, — я говорю о бедности такого рода. Это сокрушительное проклятие, погребаящее благородные стремления под тяжестью низменных забот; это нравственная язва, прободающая сердце благонамеренного человеческого существа, делая его завистливым и злонравным, рождая в нем желание взяться за динамит. Когда он видит жирную, праздную светскую даму, что проезжает мимо в своем роскошном экипаже, лениво развалившись на сиденье, видит ее лицо, испещренное багрово-красными пятнами, следами непомерного обжорства, когда наблюдает, как безмозглый, утонченный модник курит и предается безделью в парке, как если бы весь мир с его миллионами честных тружеников был создан лишь для беспечных развлечений так называемого «высшего общества», — вся его благая кровь обращается желчью, и страдающий дух восстает с мятежным воплем: «Почему же, во имя всего свято-

го, все так несправедливо? Почему карманы никчемного бездельника полны золота лишь благодаря случаю и праву наследования, а я, трудящийся в поте лица от зари до полуночи, едва могу наскрести на сытный обед?»

И в самом деле, почему? Почему грешники цветут, подобно благородному лавру? Я часто размышлял над этим. Однако теперь я думаю, что способен ответить на этот вопрос, основываясь на собственном опыте. И каком опыте! Кто мне поверит? Кто поверит, что столь необычная и умопомрачающая доля выпала простому смертному? Никто. И все же это правда — и более правдиво, чем многое из того, что зовется истинным. Более того, мне известно, что многие испытывают злоключения, подобные моим, подпав под то же самое влияние, возможно, иногда в их сознании мелькает мысль о том, что они погрязли во грехе, но воля их слишком слаба, чтобы разорвать ту сеть, в которую они попались добровольно. Усвоят ли они урок, преподанный мне? Пройдут ли столь же горестную школу под оком столь же грозного надзирателя? Смогут ли постичь, как я, неволей — всеми фибрами моего умственного восприятия — необъятный, неделимый, деятельный Разум, что трудится беспрестанно, хоть и безмолвно, бесконечного во времени, безусловно существующего Бога? Если случится так, тьма их сомнений рассеется и вся мнимая мирская несправедливость обернется чистой воды беспристрастностью. Но пишу я без надежды в чем-либо убедить или просветить своих современников. Мне слишком хорошо известно, сколь они строптивы — судить об этом я могу по себе. В том, как горделиво я когда-то верил в себя, меня не превзошел ни один из людей на всем земном шаре. И я отдаю себе отчет в том, что остальные находятся в схожем положении. Я всего лишь желаю изложить здесь события своего жизненного пути в том порядке, в котором они сменяли друг друга, предоставив более смелым умам рассуждать о загадках человеческого существования сообразно их силам.

Стояла жестокая зима, которую еще долго будут вспоминать как одну из самых суровых в этих широтах, когда великая волна холодов захлестнула не только славный британский архипелаг, но и всю Европу, а я, Джефффри Темпест, один во всем Лондоне умирал от голода. В наши дни голодный человек редко у кого вызывает заслуженное сострадание — столь редки те, что могут в него поверить. Достойные люди, те, что только что наелись до отвала, больше всех прочих проявляют недоверие, а кое у кого из них рассказы о том, что где-то голодают люди, и вовсе вызывают улыбку, словно являются обыденными послеобеденными анекдотами. Или с раздражающей рассеянностью, столь характерной для великосветской публики, что, задавая вопрос, не дожидается, пока на него ответят, или не понимает услышанного, для сытно отобедавших, которые, услышав, что кто-то умирает от голода, лениво бормочут: «Какой ужас!», и возвращаются к обсуждению последних веяний моды, чтобы убить время, иначе время убьет их абсолютной скукой. Сам факт того, что кто-то голоден, звучит грубо, плебейски, и о нем не упоминают в приличном обществе, где каждый всегда ест больше, чем ему требуется. Однако в те дни, о которых я говорю, мне, с некоторых пор ставшему объектом всеобщей зависти, слишком хорошо был ясен жестокий смысл слова «голод» — грызущая боль, тошнотворная слабость, безжизненное оцепенение, неутолимая животная потребность в одной лишь пище; все эти чувства в достаточной мере страшат тех, кто, по несчастью, испытывает их каждый день, но если они причиняют страдания тем, кто вскормлен в неге и воспитан в манере, присущей джентльмену — Боже упаси! — их боль куда сильнее. Я чувствовал, что не заслуживал тех несчастий, что на меня обрушились. Я трудился, не жалея сил. С тех пор как умер мой отец и я обнаружил, что все состояние, которое, как я полагал, унаследую от него, до последнего пенни достанется сонмищу кредиторов, и от всего нашего дома и имения мне останется лишь украшенный камнями миниатюрный портрет матери, отдавшей свою жизнь, чтобы я появил-

ся на свет, — с тех самых пор я работал не покладая рук, от зари до заката. В своем университетском образовании я избрал единственную стезю, для которой, как мне казалось, я был пригоден, — литературную. Я пытался устроиться почти в каждое лондонское издание — многие мне отказали, иные дали испытательный срок, но ни одно не платило на постоянной основе. Каждый, кто стремится превратить свой мозг и свое перо в источники постоянного дохода, в начале пути устаивается участи изгоя. Он никому не нужен, его все презирают. Над его потугами потешаются, рукописи швыряют ему в лицо, не читая их, и он вызывает у всех столько же интереса, сколько убийца, сидящий в камере смертников. Убийца хотя бы накормлен и одет — его навещает достойный священник, и даже тюремщик иногда снисходит до того, чтобы перекинуться с ним в карты. Но человек, наделенный даром мыслить оригинально и выражать эти мысли, для всех облеченных властью куда хуже самого отпетого негодяя, и все чинуши едины в своем стремлении растоптать его при любой возможности. В мрачном молчании я сносил пинки с тычками и продолжал жить дальше — не из любви к жизни, но лишь потому, что презирал трусливое насилие над самим собой. Я был достаточно молод и не так легко расставался с надеждой — призрачной надеждой на то, что придет и моя очередь — быть может, вечно вращающееся колесо фортуны вознесет меня наверх так же, как перемалывает сейчас, едва способного влачить свое жалкое существование, — хотя дни мои сменяли друг друга, ничего не менялось. Почти шесть месяцев я работал в должности рецензента в одном известном литературно-художественном журнале. Мне присылали по тридцать романов в неделю для «критики» — я взял привычку наскоро пролистывать восемь или десять из них, писать разгромный обзор на эти случайно выбранные романы, а оставшиеся вообще не устаивал вниманием. Я обнаружил, что подобный образ действий считался разумным, и какое-то время редактор, щедро плативший мне по пятнадцать шиллингов в неделю, был мною доволен. Но меня сгубил единствен-

ный случай, когда, пойдя против собственных правил, я тепло отозвался об одном произведении, сообразно совести сочтя его оригинальным и превосходно написанным. Его автор оказался заклятым врагом владельца журнала, и, к несчастью для меня, мой хвалебный отзыв опубликовали; так взаимная вражда пересилила правый суд, и я был незамедлительно уволен.

После этого я влачил довольно жалкое существование; мне перепадала кое-какая халтура из ежедневных газет, меня кормили обещаниями, которые никто не собирался сдерживать, пока той самой зимой, в январе, я не остался без единого пенни, на пороге голодной смерти, к тому же задолжав месячную оплату за убогую квартирку в переулке недалеко от Британского музея. Весь день я устало таскался из газеты в газету в поисках работы, и везде меня ждал отказ. Все возможные должности были заняты. Также я безуспешно пытался пристроить собственную рукопись — художественный роман, по моему мнению, вполне достойный; но все рецензенты в издательствах сочли его никуда не годным. Как я узнал позже, все эти «рецензенты» по большей части сами являлись романистами; в свободное время они читали чужие произведения и оценивали их. Подобное положение дел казалось мне несправедливым; я всегда полагал, что оно благоприятствует посредственности, подавляя ростки оригинальности. Здравый смысл подсказывает, что писатель-рецензент, занимающий определенное место в литературной среде, скорее станет продвигать авторов-однодневок, нежели тех, что способны потеснить его на этом поприще. Как бы то ни было и сколь порочна ни была сложившаяся система, суждение обо мне и моем литературном детище было крайне предвзятым. Последний из посещенных мною издателей оказался человеком вполне добродушным и не без некоторого сочувствия окинул взглядом мое истрепанное платье и худое лицо.

— Мне жаль, — сказал он, — мне очень жаль, но рецензенты мои высказались единодушно. Из того, что я от них слышал, я заключаю, что вы слишком серьезны. Кроме того,

позволили себе несколько саркастических выпадов в сторону общественности. Любезный государь, так не пойдет. Никогда не вините общество — оно покупает книги! Вот если бы вы написали остроумный любовный роман, с *пикантными* нотками, и даже куда более *пикантный*, чем дозволено, то угодили бы вкусу современной публики.

— Прошу прощения, — несколько вяло возразил я, — но уверены ли вы в том, что хорошо разбираетесь во вкусах современной публики?

Он улыбнулся мне снисходительной, довольной улыбкой, без сомнения считая, что подобный вопрос я задал исключительно благодаря собственному невежеству.

— Разумеется, я в этом уверен, — ответил он. — В мои обязанности входит знать о потребностях публики так же хорошо, как о содержимом своих карманов. Поймите меня — я не предлагаю вам писать о чем-то совершенно непристойном, оставим это эмансипированным женщинам, — тут он засмеялся, — но могу заверить вас в том, что высокочлассная художественная проза плохо продается. Прежде всего ее не любят критики. Но и критикам, и общественности придется по вкусу чувственный реалистический роман, написанный лаконичным газетным языком. Литературный, аддисоновский язык — это ошибка.

— Значит, по-вашему, я и сам — ошибка, — проговорил я, натянуто улыбаясь. — В любом случае, если вы действительно говорите правду, мне стоит отложить перо и попробовать свои силы в ином ремесле. Я достаточно старомоден, чтобы считать профессию литератора достойнейшей из возможных, и мне не по пути с теми, кто сознательно способствует ее разложению.

Он бросил на меня косой взгляд, в котором мелькнули недоверие и пренебрежение.

— Так-так! — воскликнул он. — Вижу, есть в вас нечто донкихотское. Ничего, это пройдет. Не желаете ли отужинать сегодня в моем клубе?

На его предложение я, нимало не раздумывая, ответил отказом. Я видел, что ему известно, в каком бедственном положении я нахожусь, и моя гордость — или тщеславие,

если угодно, — поспешно пришла на выручку. Я торопливо пожелал ему всего хорошего и ретировался в свою квартиру, прихватив отвергнутую рукопись. По прибытии, едва я ступил на лестницу, мне встретилась хозяйка, спросившая, «не соблаговолю ли я уладить дела» на следующий день. Бедняжка обратилась ко мне учтиво, и не без некоторой сочувственной робости. Столь явное проявление жалости с ее стороны наполнило мою душу желчью так же, как предложение издателя накормить меня ужином уязвило мою гордость, — и с совершенно нахальной уверенностью я немедленно пообещал принести ей деньги в удобное для нее время, хоть и не имел ни малейшего представления о том, где и как раздобуду требуемую сумму. Расставшись с ней, я закрылся у себя в комнате, швырнув бесполезную рукопись на пол, бросился в кресло и крепко выругался. Ругань придавала мне бодрости, и это казалось мне естественным — хотя от недоедания я порядком ослаб, но все же не настолько, чтобы лить слезы, — и бранные слова приносили мне такое же облегчение, какое, я полагаю, испытывает взволнованная женщина, разражаясь плачем. Сраженный отчаянием, я не мог ни плакать, ни вызывать к Богу. Откровенно говоря, в Бога я вовсе не верил — *тогда* не верил. Я был самодостаточным смертным, презиравшим дряхлые суеверия так называемой религии. Разумеется, воспитан я был в духе христианства, но в моих глазах вера утратила всяческую пользу, стоило мне осознать абсолютную неэффективность христианских священников в решении насущных жизненных вопросов. Душа моя без руля и ветрил неслась среди хаоса, разум тяготил груз мыслей и честолюбия, а тело бедствовало. Положение мое было отчаянным — и сам я пребывал в отчаянии. Если благие и падшие ангелы играли в кости и победившему доставалась человеческая душа, то в этот самый миг кто-то из них делал решающий бросок ради моей собственной. И все-таки, несмотря на все это, я чувствовал, что сделал все, что было в моих силах. Меня загнали в угол мои современники, теснили, не давая жить, но я боролся, как только мог. Я трудился честно, терпеливо — и бесцельно. Я знал негодяев,

что получали кучу денег, и жуликов, что сколотили целое состояние. Они благоденствовали, и это, по-видимому, служило доказательством того, что честность все же *не* являлась лучшей политикой. Что же мне оставалось делать? Как мог я ступить на путь иезуита, злодействуя ради собственной выгоды? Такие отрешенные мысли мелькали в моей голове, если только эту отупелую блажь можно было назвать мыслями.

Ночь была невероятно холодной. Мои руки совсем онемели, и я пытался отогреть их при помощи масляной лампы, которой хозяйка все еще разрешала пользоваться, несмотря на долги. Тут я заметил три письма на столе — одно в длинном синем конверте, видимо повестка в суд или уведомление о возврате моей рукописи; на другом была марка Мельбурнского почтамта; третий конверт был плотным, квадратным, с красно-золотой короной на обороте. Я равнодушно перевернул их, выбрав то, что пришло из Австралии, и взвесил его на ладони, прежде чем открыть. Я знал, от кого оно, и рассеянно думал о том, какие вести в нем заключались. Несколько месяцев назад я подробно рассказал о своих трудностях и растущих долгах старому приятелю из колледжа, что счел маленькую Англию недостойной своих амбиций и отплыл навстречу огромному новому миру, намереваясь заняться золотодобычей. Дела у него, как я понял, шли хорошо, а положение его было весьма прочным, и я отважился прямо попросить у него пятьдесят фунтов займа. Без сомнений, передо мной был его ответ, и я помедлил, прежде чем вскрыть печать.

— Конечно, меня ждет отказ, — проговорил я вполголоса. — Каким бы добрым ни был друг, если просить у него денег, он вскоре очерствеет. Он рассыплется в сожалениях, скажет, что дела идут скверно и времена нынче дурные, в надежде, что я вскоре найду выход сам. Я уже слышал подобное. В конечном счете, стоит ли мне надеяться на то, что он отличается от всех прочих? Ведь нас ничего не связывает, кроме дружеских дней, проведенных в стенах Оксфорда.

С этими словами у меня вырвался невольный вздох, и на мгновение туман застил мои глаза. Я снова увидел

башни безмятежного колледжа Модлин, тени благородных зеленых деревьев на дорожках университетского городка, где мы — я и человек, чье письмо я сжимал в руке, — прогуливались в дни беззаботной юности и мечтали о том, что нам, двум гениям, суждено возродить духовность этого мира. Мы любили классиков — нас переполняли строки Гомера, мысли и максимы бессмертных греков и латинян, и я искренне считаю, что в те дни мечтаний мы думали, что и в самих нас есть что-то от героев. Но вскоре мы оказались на арене общества, лишившей нас возвышенных надежд — мы были всего лишь обыкновенными деталями механизма, и ничем иным, — однообразная работа и проза повседневной жизни оттеснили Гомера на задний план, и вскоре мы обнаружили, что общество куда больше интересовалось очередным пошлым скандалом, а не трагедиями Софокла или мудростью Платона. Что ж, несомненно, наши мечты о том, что с нашей помощью возможно преобразовать мир, где потерпели поражение Платон и Христос, были глупыми, однако самый закоренелый циник не станет отрицать, что приятно оглянуться на дни минувшей молодости и вспомнить, что хотя бы тогда, возможно в последний раз в жизни, он был полон благородных побуждений.

Лампа горела все хуже, и мне пришлось подровнять фитиль перед тем, как снова приняться за чтение. В соседней комнате кто-то играл на скрипке, и играл хорошо. Смычок извлекал ноты нежно и в то же время с некоторой живостью, и я слушал, испытывая смутное удовольствие. От голода я так ослаб, что был почти безразличен ко всему вокруг, балансируя на грани оцепенения, и пронзительная сладость музыки, вызывающей к чувственной и эстетической сторонам моей натуры, на миг пересилила животный инстинкт.

— Вот так! — пробормотал я, обращаясь к незримо-му музыканту. — Ты упражняешься, пиликаешь на своей скрипке, и за это, несомненно, получаешь жалкие гроши, на которые едва можно протянуть. Быть может, ты, бедняга, играешь в каком-то дешевом оркестрике, а может, даже на

улицах, и голодаешь здесь, в квартале, где живет *элита*, не смея надеяться, что обретишь популярность и склонишь колени перед его величеством — а если у тебя и была такая надежда, она безнадежно утрачена. Играй, мой друг, играй! Твоя музыка приятна слуху, и кажется, ты счастлив. Правда ли это? Или ты, как и я, стремительно катишься на дно?

Скрипка звучала тише, прежняя мелодия сменилась печальной, и ей вторили градины, бившиеся в ставни. Порывистый ветер свистел под дверью, завывал в дымоходе — холодный, будто касание смерти, настойчивый, как нож, пронзающий плоть. Я задрожал, склонился над чадившей лампой, приготовившись узнать, что за новости пришли из Австралии. Едва я открыл конверт, на стол упал вексель на пятьдесят фунтов, которые я мог получить в одном известном лондонском банке. Сердце мое встрепенулось от облегчения и благодарности.

— Джек, старина, как я ошибся в тебе! — воскликнул я. — Выходит, сердце у тебя доброе.

И я, глубоко тронутый тем, с какой легкостью мой друг проявил щедрость, жадно принялся за чтение. Письмо было недлинным; очевидно, писалось оно в спешке.

«Дорогой Джефф!

Мне жаль слышать, что ты в столь тяжелом положении; это напрямую говорит о том, какого сорта дурни по-прежнему преуспевают в Лондоне, пока такой способный человек, как ты, тщетно пытается найти себе место в литературном мире и добиться признания. Думаю, что все дело тут в связях, а деньги — единственное, что влияет на ход любого дела. Вот пятьдесят фунтов, о которых ты просил, пожалуйста, — и не спеши мне их возвращать. В этом году я окажу тебе еще одну услугу и пошлю к тебе друга — настоящего друга, без обмана! С собой у него будет рекомендательное письмо от меня, и между нами говоря, старина, для тебя нет ничего лучше, чем препоручить ему себя и свои литературные дела. Он знает всех, всю хитрость издательского дела, всю шайку газетчиков. Кроме того, он ярый филантроп,